

большой глиняной посудины красного вина. Мы с удовольствием выпили по стакану. Потом человек, с которым я пришел, попросил у хозяйина «бота» — небольшой мех для вина. Поднял его на вытянутой руке, запрокинул голову, и гоненькая темно-бордовая струйка полилась в рот. Он пил не глотая.

— Вот так пьют настоящие испанцы, — сказал он. Потом добавил: — А у меня в жизни было десять лет, за которые я не выпил ни капли нашего вина...

Мне хотелось бы назвать имя этого человека. Сам он говорил:

— Будешь писать, имя можешь не скрывать, плевал я на них.

Но я все же назову его условно — Хинер. Он многим похож на гойтисоловского Хинера, только посильнее его духом и волей, да и сын этого Хинера продолжает дело отца. Когда мы впервые с ним встретились и он узнал, что я из Москвы, он обнял меня, горячо вздохнул: «Товарищ», — и вытер сверкнувшие на глазах слезы.

Десять лет, которые Хинер вспомнил в баре, — это десять лет тюрьмы, куда он был брошен, как активный борец за республику. Он сражался с фалангистами, защищая Мадрид. «Жизнь моя не была бесцельной, несмотря на видимые неудачи, в ней был смысл». Этот смысл Хинер видит сейчас в том, чтобы активно бороться за правое дело освобождения трудящихся своей родины.

К нашему столу подсаживались люди, судя по всему — рабочие, они обменивались крепкими рукопожатиями. Их немногословные обращения друг к другу говорили о товарищеском взаимопонимании.

— Наши усилия, — как бы повторяли они слова гойтисоловского Хинера, — не пропали даром. Мы можем и должны начать все сначала.

...По Рамбла-де-лас-Флорес и Виа Гранде крутятся водовороты людей. Нет, не беспечна и не бесцельна их жизнь.

Л. КАМЫНИН



Camilo José Cela.
Las compañías convenientes
y otros fingimientos y ceguerras. Barcelona, Ediciones Destino, 1963.

НОВЫЕ КНИГИ КАМИЛО ХОСЕ СЕЛЫ

Без творчества Камило Хосе Селы нельзя представить себе испанскую литературу последних 20 лет. Дело, конечно, не в том, что и в статьях, и на суперобложках книг Селу давно называют «первым прозаиком» и «лучшим писателем» современной Испании. Такой успех мог бы выпасть на долю официального литератора. Однако Селу никак нельзя назвать официальным; он пишет очень много, во многих жанрах

(очерки, путевые заметки, рассказы, романы), и нигде не встретишь у него того слащавого и трескучего оптимизма, который характерен для франкистской литературы. Его можно было бы назвать юмористом — но только на первый взгляд; юмор его горек, мир его книг — страшен и нелеп. Молодые и мятежные писатели последнего десятилетия — братья Гойтисоло, например, или Матуте — конечно пишут о зле и прямее и резче. У Селы (который называет себя не пессимистом, а «удивленным») горечь упреков направлена не против строя, а против времени. И как раз в последних двух сборниках («Приличные знакомства и другие выдумки и наваждения» и «Притон отверженных, или Мешанина брехни и бахвальства») тема «дурного времени» звучит особенно отчетливо. Признаки этого «дурного времени» различны — от страшных до просто нелепых, но все они говорят об одном и том же: гибнет личность. Чтобы писать об этом во франкистской Испании, надо иметь большое мужество.

В очерке «Учись быть мужчиной. Подробности письмом» Села сравнивает юность своего поколения с юностью нынешнего. Его друзья «готовились к великим подвигам»; теперь они прозябают. «Их судьба трагична и прекрасна, как судьба бедной книжной героини. Кроме того, она поучительна, хотя это трудно объяснить, а увидеть сейчас — почти невозможно». Их сменили другие — «практичные и одинаковые». «Они уже не читают великолепных, дурацких книг и не толкуют пылко о том, чего не знают». «Нынешние молодые люди, на которых не нарадуются родители, затронуты, поражены, испорчены грехом подбодрости и соглашательства».

Конечно, все это более или менее традиционно и даже расплывчато, но ведь

СРЕДИ КНИГ

юность Селы и его друзей пришлось на времена республиканцев, а юность «нынешних» — на времена франкизма.

Селу всегда легко узнать по интонации — комически-обстоятельной, иногда почти пародийной; и по нелепым диалогам, составленным из штампов; и по особому приему — назойливому повторению в начале каждой фразы имен, чаще всего — длинных, двойных и составных фамилий. Обычно Села достигает комического эффекта, излагая обстоятельно и спокойно самые невероятные факты, один другого нелепее и страшней. В одном рассказе пьяный муж забыл жену в снегу; во втором — гости случайно закололи невесту; в третьем — рухнул дом, пока хозяин был в кабачке, и т. д. и т. п. Не говоря уж о том, что все эти ужасы сами по себе на редкость нелепы, есть и нелепости не страшные — глупые стихи, бессмысленные речи, никому не понятные учреждения. Обо всем этом Села рассказывает серьезно, и персонажи ведут себя серьезно.

Однако, как ни характерно все это именно для Селы, не надо забывать, что «юмор ужасов» традиционен в Испании. Хуан Гойтисоло в «Землях Нихара» рассказывает о своем попутчике, спокойно и даже не без шутливости излагавшем историю о свинье-людоедке, и в связи с этим замечает, что такой юмор — «специальность» испанцев. «Черный юмор» можно найти у многих писателей, и, что еще важнее, он бытует в народном творчестве, но, может быть, ни у кого нет такого нагромождения нелепых ужасов, как у Селы. Многие рассказы Селы напоминают кукольный театр — например, история о муже, выбросившем жену в окно.

В новых сборниках больше очерков, чем рассказов, а очерки у Селы всегда проще и серьезнее. Вероятно, поэтому центр тяжести здесь немного переместился. В этих книгах чаще и отчетливее, чем прежде, звучит тема «дурного времени». Символ нового и дурного — «грубый знак наших грубых времен» — близнецы, абсолютно похожие друг на друга, каждого из которых спрашивают: «Это вы или ваш брат?» (см. рассказ под этим названием). И все же мир Селы не только страшен и не совсем безотраден. В нем есть — точнее, в него вкраплены — одинокие чудачки.

Кто же эти чудачки? Среди них нет богатых. Во-первых, это целый паноптикум жалких старых дев, реже вдов, но всегда — одиноких женщин: Мария Дурочка; донья Гильермина, по прозвищу Ингрид Бергман; вечная невеста Фиорелья, 87-летняя мадемуазель Одетт, мечтающая прыгнуть с парашютом, и многие другие. Их занятия нелепы, они «ничего не добились», по суждению «здравомыслящих», их жизнь не удалась. Они живут не так, как все. Им неведомы ни стандарт, ни страсть к наживе; так, Мария Дурочка расписывает от руки конверты, каждый по-иному, и дарит их, если у покупательницы нет денег. Даже те, кто пытается, как Гильермина и Аделина, вписаться в этот мир, затеять «дело», еле сводят концы с концами.

Есть и портреты стариков, тоже весьма нелепых. Как правило, эти старики хранят верность «доброму старому времени». Так, дон Нарсисо («Сюртук дон Нарсисо») считает, что раньше все было лучше, красивей, и лелеет свой допотопный сюртук, напоминая ему о прелестях прежней эпохи. Села, конечно, посмеивается и над доном Нарсисо и, тем самым, над собственными сетованиями. И все же он «испытывает безграничную нежность... ко всем сумасбродкам и ко всем старухам, в чьих сердцах укрылся великий вздор мира» («Мадемуазель Одетт, парашютистка»).

Кроме престарелых чудачков и чудачек, так сказать обломков былой галантности, былого бескорыстия или былой чувствительности, Села живописует и других чудачков, которых можно было бы назвать «осколками былого геройства». Все они, как правило, нелепы, и подвиги их бесплодны. Вот — юноша, отправившийся в рыбацкой лодке из Шотландии во Францию; вот — крестьянин, убивший ястреба голыми руками; вот — супруги Карлин, вышедшие в открытое море. Чаще всего их подвиг — именно плавание, бессмысленное, романтическое и мальчишеское. А некоторые из них отличились (именно отличились, выделены из стандарта) только физической силой или выносливостью. Один убил ястреба, другой — крокодила, третий не заметил, как у него оторвали ухо, а потом сунул это ухо в карман. Несколько раз Села возвращается к теме Тарзана; всякий раз — с должной иронией и все же — не без серьезности. Печальнее всего рассказ о девочке, которую насильно вернули к цивилизации; особенно печален, хоть и смешон, конец, где Села пророчит ей примирение с мещанством («Трагедия Берты Хертог, девочки-дикарки»). Конечно, Села прекрасно понимает, что «тарзанство» или редкая нечувствительность к боли — никак не «положительный идеал». И старые девы не идеал, и даже добрые чудачки. Но в том мире, который он так ненавидит (конечно же не только удивляется — именно ненавидит), и это — вызов, и это — мятеж, уж хотя бы потому, что каждый из таких героев — хоть какая-то личность. Он сравнивает своих неудачливых мореплавателей с Колумбом, своих туповатых силачей с Прометеем, Сидом и с партизанами антинаполеоновских войн — да, такие они в наш дурной век, как бы говорит он. Они мятежники в стандартизированном мире, но почва для подвигов нет, и мятеж их — чудачество. «От скуки можно стать героем, а можно стать и безумцем» («Супруги Карлин»). Все лучше — даже пираты и воровки, — чем непонятный, бесчеловечный, стандартизированный мир («Стаканчик в таверне «Ямайка» или «Облава на вороватых слуганок»).

А чище и лучше их всех — такие чудачки, как Франсиско, укротитель пчел, или Фернандо Лопес, воспитатель воробьев. Они тоже особенные, «безумные», но доброта престарелых дев соединяется в них со спокойной простотой «силачей». Примеча-

GARITO DE HOSPICIANOS



Camilo José Cela.
Garito de hospicianos o
Guirigay de imposturas y
bambollas. Barcelona—Ma-
drid—México, Editorial No-
guera, 1963.

тельно, что признак чистоты — любовь и послушание животных (точнее — птиц и пчел); животные, вообще природа всегда символизируют у Селы чистоту и простоту, хотя, конечно, он и сам подшучивает над романтизмом тарзаньей жизни. Но таких портретов очень мало — их не может быть много в печальном мире Камило Хосе Селы.

В очерках о деревне (я говорю о прежних — в этих книгах их очень мало) больше тепла, чем в рассказах о городе; повествования о бедных кварталах несравненно мягче, чем повествования о богатых. И все же жизнь мелких горожан он отнюдь не идеализирует и, переходя от общих описа-

ний к микропроисшествиям их жизни, не жалеет отталкивающих деталей. Кроме того, при ближайшем рассмотрении, то есть в рассказах, и эта среда распадается на тупых мешан и «безумцев». Однако здесь чудачков много больше; и, читая совсем не умильные рассказы о том, как донья Лаурита брилась, а Мария Дурочка не мылась из принципа, видишь ясно: *этих* Села жалеет, *эти* — не враги. Он ничем не может помочь им и не пытается даже — он их просто описывает, так скрупулезно и талантливо, что они становятся ярче и заметней, чем в жизни. В этом Села похож на Диккенса (который, по собственным словам Селы, стоит для него на втором месте после Достоевского); но в нем нет ни капли романтического духа надежды, от которого самые страшные сцены у Диккенса преисполнены оптимизма. Села не только не знает, что же делать, — он считает, что в наше время сам Дон Кихот, «если бы он поднял голову из могилы», «быстро сунул бы ее обратно, устыдившись» («Ястреб из Крусдель-Майо»). Так и Села — стыдится, иронизирует, недоумевает. «Мы не знаем почти ничего, — пишет он, — о том, что творится вокруг. Может быть, нас назовут пессимистами; вряд ли — скорей уж можно назвать нас удивленными. Мы удивляемся тому, что творится, и тому, как все творится». И дальше: «Когда человек в густом тумане теряет дорогу, что ж ему делать, как не слушаться биения собственного сердца, единственного компаса?» («Перекресток»). Конечно, Селу можно укорять и за горечь, и за безысходность, и за ту самую «хорошую мину при плохой игре», которую он сам называет единственно возможной в его время для порядочного человека. Но не надо забывать, что Камило Хосе Села всегда высмеивал соглашательство, ловил повсюду, где видел, проблески человечности, жалел униженных, и было время, когда он — один из немногих в испанской литературе — оставался живым.

Н. ТРАУБЕРГ

СПУСТЯ ТРИ ВЕКА

Матео Алеман. Гусман де Альфараче. Роман в 2-х частях. Перевод с испанского Е. Лысенко и Н. Поляк. Предисловие и комментарии Л. Пинского. Редакция перевода А. Смирнова. Перевод стихов Ю. Корнеева. Москва, Гослитиздат, 1963. ч. I — 479 стр., ч. II — 567 стр.

Алемана спорил со славой Сервантеса. Потом вкусы изменились. Роман показался тяжелым, перегруженным отступлениями. Лесаж обработал текст, и его переделка затмила оригинал (русский перевод — «Гузман д'Алфараш. Истинная гишпанская повесть господина Лесажа». М., 1804 — переиздавался 8 раз). Но и Лесаж в конце концов не избежал забвения.

Теперь, через триста пятьдесят лет после смерти Алемана, роман его впервые переведен на русский язык. Что же мы приобрели? Заполнение бреши в академической образованности? Или живую книгу для живого чтения? С некоторым недоверием раскрываешь первый том — и сразу поддаешься обаянию языка перевода. Е. Лысенко и Н. Поляк создали органическую стилевую структуру, яркую, блестящую поговорками,

Это очень старая книга. Она написана несколькими годами раньше «Дон Кихота», и в течение ста лет слава

СРЕДИ КНИГ